ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

В 1525 году великому князю Московскому Василию Ивановичу исполнилось 46 лет. Возраст немалый для мужчины, тем более в эпоху Средневековья, когда продолжительность человеческой жизни была гораздо короче, чем теперь. Тем не менее у великого князя все еще не было сына, наследника. Василий женился 4 сентября 1505 года, незадолго до смерти отца, великого князя Московского Ивана III, выбрав себе невесту по новому, неизвестному ранее в Москве обычаю.

По традиции московские великие князья чаще всего вступали в брак с женщинами из своего княжеского дома (так, например, жена Василия Темного, деда Василия III, Марья Ярославна была троюродной сестрой своего супруга), либо с женщинами, принадлежавшими к другим княжеским домам Северо-Восточной Руси (жена Дмитрия Донского Евдокия была дочерью суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича). Теперь все князья Северо-Восточной Руси стали подданными великого князя Московского, и сватать у кого-либо из них невесту для своего сына и наследника Иван III посчитал ниже своего достоинства. По совету великокняжеского печатника грека Юрия Траханиота был возрожден древний обычай выбора невесты, практиковавшийся при дворе византийских императоров. По приказу государя подданные присылали своих наиболее красивых дочерей на смотрины, и из их числа государь-жених выбирал себе невесту. Так будущий Василий III женился на Соломонии Сабуровой, происходившей из московского боярского рода костромских вотчинников.

Брак был благополучным, но бездетным, и с течением времени это все больше беспокоило супругов. Они стали совершать длительные поездки по самым прославленным русским обителям, прося их святых покровителей о «чадородии». Великая княгиня вышивала покровы на гробницы святых, ожидая от них помощи в своем несчастье, но ничто не помогало. Василий III был, по-видимому, привязан к жене, но, когда после двадцати лет совместной жизни брак так и не дал детей, он решил с ней расстаться.

По официальной версии сама Соломония, «видя неплодство из чрева своего», приняла решение уйти в монастырь, и великий князь согласился на это лишь после долгих уговоров жены и митрополита. Действительность выглядела иначе. Великая княгиня не хотела ни разводиться, ни принимать постриг, и ее пришлось принудить к этому силой. Рассказ о пострижении Соломонии Сабуровой сохранился в записках австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, по-

бывавшего в Москве в 1526 году с дипломатической миссией. Согласно его рассказу, когда великую княгиню отвезли из Москвы в Покровский Суздальский монастырь и «в монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский куколь, она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами». Лишь после того, как ближний дворянин Василия III Иван Юрьевич Шигона Поджогин ударил ее плетью, великая княгиня была вынуждена покориться и принять постриг под именем Софии. Все это происходило в самом конце 1525 года. Покровскому монастырю Василий III подарил два села в Суздальском уезде.

Теперь великий князь был свободен и мог вступить в новый брак. По уже установившемуся обычаю были устроены смотрины невест, и выбор государя пал на княжну Елену Васильевну Глинскую. 21 января 1526 года царь отпраздновал свадьбу.

Не всем понравились эти хлопоты великого князя об устройстве своей семейной жизни. Псковский летописец с осуждением писал о свадьбе Василия III: «И все то за наше согрешение, яко же написал Апостол: пусть жену свою, а оженится иною, прелюбы творит». В «Истории о великом князе Московском» Андрея Курбского и «Выписи из государевы грамоты, что прислана к великому князю Василию Ивановичу о сочетании второго брака» сохранилась память о тех приближенных великого князя (таких, например, как старец Вассиан Патрикеев), которые выступали против нового брака и поплатились за это опалой и ссылкой. Со временем в предосудительном поступке Василия III стали видеть предвестие тяжелых бедствий, постигших Русскую землю в годы правления родившегося от нового брака царя Ивана Грозного.

Семья Глинских сравнительно недавно, уже в XVI веке, появилась в рядах московской знати. Она принадлежала к татарскому, со временем обрусевшему роду, служившему великим князьям Литовским с конца XIV века. Центром их родовых владений, полученных от великого князя Литовского Витовта, был городок Глинск на левобережной Украине. Положение рода в рядах правящей элиты Великого княжества Литовского поначалу оказалось невысоким. Позднее в Москве недруги Глинских рассказывали, что дед Елены, князь Лев Борисович, служил при дворе одного из литовских князей Гедиминовичей, князя Ивана Юрьевича Мстиславского. Когда один из сыновей князя Льва, Михаил Львович, в начале XVI века стал фаворитом великого князя Литовского и короля Польского Александра, для Глинских открылся доступ к высоким государственным должностям. Но возвышение Глинских оказалось недолгим. После смерти Александра их стали отодвигать на задний план. Михаил Глинский в 1508 году поднял мятеж против нового короля Сигизмунда I и отъехал со своими братьями в Россию.

Жизнь Михаила Глинского до и после приезда в Россию, полная быстрых взлетов и резких падений, могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Гораздо меньше мы знаем об отце Елены, князе Василии Львовиче. Выехав вместе с братом в Россию, он получил от Василия III «в кормление» Медынь, но в походы воеводой не ходил и наместником в города не посылался, вероятно, из-за ранней слепоты: в 1509 году Василий III просил крымского хана прислать в Москву «великого лекаря», чтобы лечить князю Василию Глинскому глаза. Ко времени женитьбы Елены ее отец уже умер. Михаил же Глинский с 1514 года сидел в тюрьме, куда он попал за попытку отъезда в Литву. Он был освобожден из заточения лишь после брака своей племянницы.

Михаил Глинский побывал во многих странах Европы, был известен многим европейским государям, его любил и жаловал сам император Священной Римской империи Максимилиан I. Вероятно, страсть к путешествиям была не чужда и князю Василию Львовичу, который женился на Анне, дочери сербского воеводы Стефана Якшича. Стефан Якшич, дед Елены Глинской по матери, был военным вождем сербов, которые, спасаясь от османского нашествия, селились в южных областях Венгерского королевства, защищая границы этого государства от натиска османов. В Венгерском королевстве эти земли пользовались автономией, а сербские воеводы находились в родстве с рядом венгерских знатных фамилий. Вероятно, именно это родство имели в виду московские собеседники Герберштейна, объясняя ему, что великого князя понудили вступить в новый брак важные политические соображения — «тесть его вел свой род от семейства Петрович, которое пользовалось некогда громкой славой в Венгрии и исповедовало греческую веру». Однако ни при Василии III, ни позже никто не пытался использовать эти связи в интересах московского правительства, да и сами владения сербских воевод лежали далеко за пределами сферы русских политических интересов. На самом деле все объяснялось намного проще. Великий князь выбрал молодую девушку из числа тех, кто явился на смотрины, по-видимому, потому, что она ему просто понравилась. Сигизмунд Герберштейн, а также неизвестный монах из Пафнутьева Боровского монастыря сообщают о том, что великий князь даже сбрил бороду в угоду молодой жене.

Очевидно, в связи с заключением брака стали создаваться родословные легенды, которые должны были обосновать высокое место Глинских в кругу московской знати. Родоначальник Глинских Лекса стал внуком знаменитого правителя Золотой Орды Мамай, а Мамай, в свою очередь, — отпрыском знатного рода Киятов, которые «кочевали по сей стороне Волги до Чингиз царя». В легенде говорилось и о браке одного из предков Мамай с дочерью Чингиз-хана, почему Кияты «и именуютца царского рода». Так составитель легенды пытался обосновать право Глинских быть на равной ноге с наслед-

никами Чингиз-хана, потомками правителей Большой орды, Крыма и Казани. Однако есть основания думать, что для сына Елены, царя Ивана IV, это значения не имело. В его обширном письменном наследии мы не находим никаких сведений о предках по материнской линии. Единственные его предки, о которых он говорил постоянно и настойчиво, — это русские государи, потомки святого Владимира.

Новый брак на первых порах не принес того, чего ждал от него великий князь, а именно сына-наследника. Василий снова стал ездить по монастырям с молодой женой, прося о помощи чудотворцев. Судьба подарила ему сына лишь через четыре года после свадьбы, когда великому князю было уже за пятьдесят.

Долгожданный наследник родился 25 августа 1530 года, «в седьмой час ночи». Он был назван Иваном, очевидно, в честь деда, великого князя Ивана III; его христианским патроном стал Иоанн Креститель. Крещению наследника великий князь постарался придать большое значение. Василий направился с младенцем в самую почитаемую русскую обитель — Троице-Сергиев монастырь. В написанном в связи с этим «Похвальном слове великому князю Василию» указано, что младенца сопровождали мамка — «Агрипина Васильева» — Аграфена, вдова боярина Василия Андреевича Челяднина, и кормилица, очевидно, простая женщина, имя которой автор «Слова» не счел нужным упомянуть.

Крестных отцов-восприемников для княжича выбрал сам великий князь. Именно по его настоятельному желанию крестным отцом Ивана стал один из самых почитаемых старцев Иосифо-Волоколамского монастыря — любимой обители Василия III, Кассиан Босой. Старца, глубокого старика, «яко младенца привезоша» и во время совершения обряда постоянно поддерживали два троицких инока. Другим крестным отцом стал хорошо известный великому князю игумен Троицкого монастыря в Переславле-Залесском Даниил, образцовый организатор монашеского общежития, вскоре после смерти причисленный к лику святых. Третьим восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря Иев Курцов. Это обстоятельство способствовало быстрой и успешной карьере родственников троицкого старца, которая привела затем к их трагической гибели. Впоследствии имя Иева Курцова было удалено из рассказа официальной летописи о крещении Ивана IV.

Обряд крещения был совершен 4 сентября 1530 года. После этого великий князь сам возложил младенца на гробницу преподобного Сергия, отдавая его под опеку самого почитаемого из русских святых. На радостях великий князь снял опалу с целого ряда своих приближенных.

Стареющий отец окружил долгожданного наследника трогательной заботой. Сохранилось несколько писем Василия III жене, из ко-

торых видно, что во время его отлучек жена должна была постоянно сообщать ему о здоровье сына, и великий князь выговаривал ей, если она этого не делала. Когда у Ивана появилось «на шее под затылком место высоко да крепко», а затем оно покраснело, обеспокоенный государь просил Елену собрать своих боярынь и с ними выяснить, «что таково у Ивана сына явилось и живет ли таково у людей малых». Когда созревший на шее наследника нарыв наконец прорвался, великий князь желал узнать, «ныне ли что идет у сына Ивана из больного места или не идет», и «каково то у него больное место, уже ли поопало или еще не опало».

30 октября 1532 года Елена Глинская родила еще одного сына — Юрия. Однако ребенок оказался глухонемым от рождения и умственно недоразвитым (как деликатно говорилось в официальной летописи, «несмыслен и прост»). Дальнейшая судьба московской великокняжеской династии всецело зависела от жизни маленького Ивана IV.

Уединенной жизни княжича в тереме в кругу мамок, нянек и боярынь великой княгини пришел конец 3 декабря 1533 года, когда скончался его отец. Великий князь болел долго и тяжело, ребенка к нему не допускали, лишь перед самой смертью Василий позвал Ивана к себе и благословил его крестом святого митрополита Петра. «Мамке» наследника, боярыне Аграфене Челядниной, умирающий приказал «ни пяди не отступать» от ребенка.

После смерти великого князя маленький Иван стал главой государства. Конечно, трехлетний мальчик не мог заниматься государственными делами. Они всецело находились в руках его матери Елены Глинской, управлявшей государством вместе с советниками его отца. Но мальчику пришлось очень рано участвовать в приемах и церемониях. Он не понимал их значения, но занимал на них центральное место. Уже через несколько дней после смерти отца трехлетний мальчик принимал гонцов от крымского хана «и подавал им мед». В феврале 1535 года он вместе с матерью присутствовал на торжественной церемонии переноса мощей одного из главных патронов московской митрополичьей кафедры — святого Алексея митрополита — в новую раку.

В августе следующего 1536 года шестилетний мальчик принимал литовских послов. У трона великого князя «берегли» наиболее видные бояре: князь Василий Васильевич Шуйский и фаворит правительницы конюший князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Мальчик просидел весь прием, время от времени произнося полагавшиеся в той ситуации слова. Лишь от обеда, устраивавшегося обычно в честь послов, отказались: от имени великого князя бояре сообщили послам, что при его малом возрасте ему «будет стол в истому». Крымским послам в аналогичной ситуации объяснили, что великий князь ест у матери, «а собе столом еще не едал». Маленький великий князь и жил, очевидно, в покоях матери в окружении мамок

и няnek. В июне 1536 года в его жизни произошло значительное событие. Он впервые отправился в путешествие за пределы столицы — на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. С ним ехали самые близкие к Елене Глинской люди — князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и муж ее сестры, князь Иван Данилович Пенков, а также «мамка» великого князя Аграфена Челяднина «и иные боярыни» — очевидно, те, которые вместе с ней ухаживали за ребенком.

Мальчик подрастал, и по обычаям воспитания в княжеской семье «мамку» должен был сменить «дядька». Действительно, если в 1536 году на богомолье Ивана еще сопровождала «мамка», Аграфена Челяднина, то в январе 1537 года на приеме литовских послов вместе с первыми боярами «ходил у великого князя в дяди место» Иван Иванович Челяднин, член одного из старейших, наиболее знатных московских боярских родов, возможно, ставший воспитателем великого князя по протекции «мамки» Аграфены, жены его покойного дяди и «ближней боярыни» самой правительницы.

Несмотря на необходимость с ранних лет участвовать в различных церемониях и приемах, жизнь мальчика в целом протекала обычно — так же, как и в других семьях знатных людей того времени. Всему этому пришел конец 3 апреля 1538 года, когда скончалась и мать великого князя, великая княгиня Елена. Мальчик остался сиротой. Такие случаи бывали и в знатных семьях, и тогда малолетние дети поступали под опеку близких родственников. Взрослых прямых родственников по отцу у великого князя не было — его двоюродный брат Владимир, сын младшего брата Василия III Андрея, был еще моложе Ивана. Другой родственник, князь Иван, сын племянницы Василия III и князя Федора Михайловича Мстиславского, был, по-видимому, тоже очень молод. В иных обстоятельствах претендовать на роль опекуни могла бы тетка великого князя, княгиня Евфросинья, мать князя Владимира. Но ее муж Андрей Иванович, самый младший из сыновей Ивана III, после смерти Василия III поднял мятеж против малолетнего племянника и пытался «засесть» Великий Новгород. Он был арестован и вскоре умер в тюрьме. Ко времени смерти Елены Глинской княгиня Евфросинья с малолетним сыном сидела под арестом на дворе своего мужа.

Более далекое родство связывало великого князя с князьями Дмитрием и Иваном Федоровичами Бельскими, отец которых был женат на племяннице Ивана III, княгине Анне Васильевне. К ним, как к близким родственникам — «сестричам», обращался перед смертью Василий III, прося их заботиться о государственных делах и служить «прямо» (то есть — верно) его сыну. По матери у великого князя были гораздо более близкие родственники, родные братья Елены Глинской — Юрий, Иван и Михаил.

Но Иван IV был не просто знатным сиротой, он был будущим правителем государства, от имени которого исходили все админист-

ративные распоряжения. В этом случае вступали в действие совсем другие правила — правила политической игры. В организации управления средневекового государства монарху принадлежала важнейшая, ключевая роль. В частности, он выступал как верховный арбитр в конфликтах между разными группами знати. Когда по каким-либо обстоятельствам такой верховный арбитр отсутствовал, между группами знати начиналась резкая бескомпромиссная борьба за власть, и победившая группа силой присваивала себе опеку над малолетним наследником. Именно это и произошло после смерти Елены Глинской.

В официальной летописи правления Ивана IV, составленной в 50-е годы XVI века — так называемом «Летописце начала царства», читаем о том, что сразу после смерти Елены Глинской был заключен в тюрьму ее любимец, князь Иван Федорович Овчина-Оболенский, и «умориша его гладом и тягостию железною, а сестру его Аграфену («мамку» Ивана IV.— *Б.Ф.*) сослаша в Каргополь и тамо ее постригоша в черници». Бояре поступили так с Овчиной «своим самовольством за то, что его государь князь великий в приближенье держал и сестру его Огрофену». Таким образом, наиболее близкие к маленькому великому князю люди, окружавшие его в годы правления матери, были насильственно удалены, но мальчик сохранил о них теплую память, о чем говорит запись в летописи, сделанная, конечно, по его приказу и отражающая его отношение к происшедшему.

Среди захвативших власть бояр главную роль играли суздальские князья, бояре Василий Васильевич и Иван Васильевич Шуйские. Князь Василий поселился в Кремле на дворе покойного царского дяди, князя Андрея Ивановича Старицкого, а 6 июня вступил в брак с двоюродной сестрой юного великого князя Анастасией. Этот брак делал его родственником Ивана IV и давал основание для опеки над ним. Именно Шуйские стали главными опекунами молодого великого князя и его брата Юрия. «Князь Василей и князь Иван Шуйские самовольством у меня в бережении учинилися, и так воцаришася», — писал впоследствии царь в своем первом послании князю Андрею Курбскому. В сентябре 1538 года эти князья вместе с дворецким князем Иваном Ивановичем Кубенским сопровождали великого князя в его поездке на богомолье в Троице-Сергиев монастырь*. Василий Шуйский скоро умер, а его брат продолжал управлять страной, приняв давно исчезнувший титул «московского наместника». Фигуры опекунов решительно отодвигали на задний план фигуру малолетне-

* По-видимому, с этой поездкой связаны воспоминания царя о том, как И. И. Кубенской вечером после всенощной стал требовать угощения у монастырских старцев. Старцы как бы согласились нарушить устав, но далее получились так, что князь «сидячи у поставца с конца ест, а они с другово конца отсылают. Да хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталось, все отнесено на погреб».

го великого князя. Не случайно в одном из летописцев под 1538/39 годом читаем: «Того ж году был на Москве наместник князь Василей Шуйский, а князь велики тогда был мал».

Как бы то ни было, молодой правитель оказался под опекой чужих людей, к которым у него не было никаких оснований испытывать добрые чувства.

Занятые государственными делами опекуны не могли уделять много внимания ребенку. Его воспитанием должен был заниматься «дядька». Упомянутый в 1537 году как «дядька» Иван Иванович Челядин благополучно пережил переворот и через некоторое время даже получил принадлежавший Ивану Федоровичу Овчине пост конюшего боярина, но о нем, как о «дядьке» царя, в источниках последующего времени ничего не говорится. Не упомянул о «дядьке» в своих сочинениях и сам Иван IV. Очевидно, если такой «дядька» и существовал, он не оказал серьезного влияния на своего воспитанника.

Об отношениях между опекунами и юным правителем сохранились прямо противоположные свидетельства. По сообщению Андрея Михайловича Курбского в его «Истории», «велицые гордые паны (по их языку боярове)» старались удовлетворять все желания своего воспитанника, «ласкающе и угождающе ему во всяком наслаждению и сладострастию». Совсем иначе писал об отношении к нему этих «пестунов» сам Иван IV. По словам царя, после смерти матери их с братом стали содержать «яко иностранных или яко убожейшую чадь», ограничивая и в пище, и в одежде, не всегда давали вовремя есть. В этом рассказе мы встречаемся и с фрагментом воспоминаний восьми- или девятилетнего мальчика: он и брат Юрий играют в свои детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский, «сядя на лавке, локтем опершись на отца нашего постелю, ногу положа на стул», не проявляет никаких знаков внимания и почтения по отношению к своему государю.

Противоречиям между показаниями источников, как кажется, можно найти объяснение. Воспоминания царя относятся к тому времени, когда он был совсем маленьким мальчиком и не мог оказывать никакого влияния на ход государственных дел, и пестуны поэтому могли пренебрегать им. Курбский же после приведенного свидетельства говорит о поступках, совершавшихся великим князем в двенадцать, а затем в пятнадцать лет, когда враждовавшие между собой боярские кланы старались заручиться его расположением.

В своем послании царь обвинял боярских правителей во многих бедах, постигших страну в его малолетство. Захватив власть, они подвергали людей «мучениям» и поборам, и под видом необходимости выплачивать жалованье детям боярским опустошили государственную казну. Из похищенного оттуда золота и серебра они ковали золотые и серебряные сосуды «и имена на них родителей своих возложаша, будто их родительское стяжание».

Сомнительно, однако, чтобы все это было известно восьми- или девятилетнему мальчику; вероятно, о своеволии бояр Иван узнал гораздо позже. В конце 30-х — начале 40-х годов опекуны если и скупо расходовали средства на содержание великого князя, то уж, конечно, стремились, чтобы к нему не поступали нежелательные для них сведения. Да и собственные наблюдения мальчика в то время могли ограничиваться только узкой сферой дворцового быта. Лишь во время ежегодных поездок на богомолье в Троице-Сергиев монастырь он мог видеть что-то происходившее за пределами дворца. Однако внешние опасности, угрожавшие в те годы стране, терзавшие ее внутренние конфликты были так сильны, что раз за разом врывались и в эту узкую, так резко ограниченную от обыденной жизни сферу.

Летом 1541 года Москва с тревогой ожидала нападения крымского хана Сагиб-Гирея. С татарской ордой в поход на русскую столицу шли «турского царя люди с пушками и с пищальми». В присутствии мальчика Боярская дума и митрополит Иоасаф обсуждали, следует ли великому князю и его брату «в городе быти или выйти». Было решено, что «малые государи» должны остаться в столице, но решение это было принято вовсе не потому, что бояре были уверены в ее безопасности: быстро уехать из Москвы не удалось («борзого езды и истомы никоторое не подняти, а с малыми детьми как скоро ездити») да и найти безопасное для своих государей место тоже оказывалось делом трудным («а в которые города в приходы татарские государи наши отступали на Кострому и в ыные города, и те города по грехом нашим нынеча не мирны с Казанью, а в Новгород и во Псков государи наши не отступали литовского для рубежа и немецкого»). Иван и его брат Юрий остались в Москве и молились в Успенском соборе перед иконой Владимирской Божией Матери и у гробницы Петра митрополита, прося о небесном заступничестве от нашествия «поганных». К счастью, русские войска не дали татарам перейти Оку, и Москва оказалась вне опасности.

А в следующем 1542 году русская столица стала ареной настоящего военного переворота. Князь Иван Васильевич Шуйский, отстраненный противниками от руководства страной и посланный во Владимир «береженья для от казанских людей», сумел привлечь на свою сторону собранное здесь войско («многих детей боярских к целованию привел, что им быти в их совете»), «пришел ратью к Москве» и при содействии своих сторонников в столице захватил город и силою устранил своих противников. В дополнениях к Синодальному списку Никоновской летописи, составленных по указанию царя, отмечено, что когда арестовали главу враждебной Шуйским боярской группировки, князя Ивана Бельского, то «бояре пришли к государю в постельные хоромы не ко времени, за три часа до света». В это время «в комнате» великого князя, вероятно, искал защиты сам глава русской церкви митрополит Иоасаф, ранее приложивший руку к отстране-

нию князя Ивана Шуйского и справедливо опасавшийся гонений. Узнав об этом, «бояре пришли за ним к государю в комнату шумом». В этих словах есть все основания видеть отзвук детских воспоминаний разбуженного ночью двенадцатилетнего мальчика. Митрополиту «начаша безчестие чинити и срамоту великую», и он вынужден был уйти с митрополичьего двора на подворье Троице-Сергиева монастыря, но и туда его противники «послаша детей боярских городовых... с неподобными речьми и с великим срамом поношаста его и мало не убиша». Устраняя или убивая неугодных, отдавая приказы от имени великого князя, бояре не интересовались мнением самого Ивана и не принимали его в расчет.

Это стало ясно в следующем, 1543 году, когда подрастающий великий князь попытался проявить свои симпатии к некоторым из членов его совета — Боярской думы. 9 сентября 1543 года на заседании Боярской думы в присутствии великого князя и нового митрополита Макария Шуйские и их советники напали на Федора Воронцова «за то, что его великий государь жалует и бережет». Воронцова «биша по ланитам и платие на нем ободраша», затем его стащили «с великого князя сеней с великим срамом бьюще и пихающе» и заключили в тюрьму. Великий князь послал митрополита и бояр Ивана и Василия Григорьевичей Морозовых просить, чтобы Воронцова не убивали и уж если «Федору и сыну его Ивану на Москве быти нелзя, ино бы Федора и его сына Ивана послали на службу на Коломну», но смог добиться лишь того, что Федора послали на Кострому. Те, кто взялись исполнить поручение великого князя, подверглись при этом оскорблениям. Как вспоминал царь Иван в своем первом послании Курбскому, «митрополита затеснили и мантию на нем с источники изодрали, а бояр в хребет толкали».

Как видим, у молодого государя стали появляться явные симпатии к некоторым из своих советников. При этом они проявлялись столь ярко, что находившаяся у власти группировка сочла нужным вмешаться и принять свои меры. Характерно, что в отличие от многочисленных опал и казней предшествующих лет на этот раз великий князь высказал определенно свои желания и нашел людей (и в их числе — самого митрополита), готовых их отстаивать. Разумеется, возможности тринадцатилетнего великого князя были невелики, реальная власть была не в его руках, настоять на своем он не мог, но все же с его желаниями вынуждены были в известной мере считаться: после насилий над Федором Воронцовым тот уехал в Кострому не ссыльным, а воеводой стоявшей там рати.

Пробуждение у Ивана какого-то интереса к государственным делам не могло не привлечь внимания политиков, находившихся не у власти, но рассчитывавших вернуть ее при содействии великого князя.

Через неделю после столкновения из-за Федора Воронцова великий князь отправился «в Сергиев монастырь помолитися», из

Троицы поехал в Волоколамск, затем в Можайск и вернулся в Москву лишь поздней осенью. В жизни молодого монарха подобные поездки были внове и свидетельствовали о том, что его образ жизни начинает приближаться к образу жизни правителя, неотъемлемой частью которого были посещения подвластных территорий.

Великого князя в этой долгой поездке сопровождали бояре. Имена их нам неизвестны, но судя по тому, что произошло дальше, некоторые из них принадлежали к числу противников Шуйских и побуждали великого князя к решительным действиям против них. Из предшествующего изложения видно, что у великого князя были все основания для антипатии к этим предводителям боярства, которые в борьбе за власть неоднократно проявляли открытое пренебрежение к нему.

29 декабря 1543 года великий князь, как сообщается в официальной истории его царствования, «велел поимати первого советника... князя Андрея Шюйского и велел его предати псарем, и псари взяша и убиша его, влекуше к тюрьмам». Последняя деталь как будто указывает на то, что первоначально предполагалось заключить боярина в тюрьму, а убит он был, когда с этим возникли какие-то сложности. Убийство вожака деморализовало всю группировку Шуйских, и его сторонники, не оказывая сопротивления, отправились в ссылку. Вместе с тем убийство боярина без суда и следствия свидетельствовало о том, что великий князь и те, кто стоял за его спиной, были, очевидно, убеждены, что легальными средствами осуществить смену власти им не удастся.

В официальной истории правления Ивана IV, откуда мы черпаем сведения об этом событии, сказано, что великий князь приказал убить князя Андрея, «не мога того терпети, что бояре безчиние и самовольство чинят... и многие неправды земле учиниша в государеве младости». Позднее к этому тексту было сделано добавление: «От тех мест начали бояре от государя страх имети». Нет сомнений, что в более поздние годы царь желал, чтобы это событие выглядело именно так в глазах читателей.

Однако все исследователи сходятся на том, что боярскому правлению не был положен конец, а сам великий князь позже не уделял большого внимания государственным делам и был далек от желания исправлять «неправды», причиненные «земле» боярскими правителями. Характерно, что один из осведомленных современников, автор Продолжения Хронографа редакции 1512 года, ничего не знал об участии великого князя в этом событии, записав лишь, что князя Андрея «убили... псару у Курятных ворот во дворце, повелением боярским». Есть все основания полагать, что события завершились сменой боярских группировок, стоявших у власти: место Шуйских заняли их противники. Главную роль среди последних играли Воронцовы. Сосланный Шуйскими Федор Воронцов к началу 1544 года получил сан боярина.

Тем не менее в образе жизни молодого правителя произошли заметные перемены. Когда вскоре после убийства князя Андрея Шуйского великий князь отправился на богомолье в Калязин монастырь, его уже сопровождало «бояр множество». Бояре пока еще не боялись своего государя, но было ясно, что его неприязнь может нанести серьезный ущерб любой из боярских группировок, находящихся у власти. Именно в этой новой ситуации опекуны стали стараться угождать всем прихотям своего государя (о чем говорит приведенное выше свидетельство Курбского). Теперь великому князю уже не приходилось жаловаться на скудное содержание.

Пришел конец и постоянному пребыванию великого князя в Москве. Он стал совершать все более длительные поездки по стране. Так, отправившись в мае 1545 года в Троице-Сергиев монастырь, великий князь поехал оттуда на север через Переславль-Залесский — в Ростов, а затем в Ярославль и на Белое озеро. В путешествии он навестил едва ли не все «заволжские обители» — Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Корнильев Комельский, Павлов Обнорский монастыри. В написанном много лет спустя послании в Кирилло-Белозерский монастырь царь вспоминал, что в первое его пребывание в Кириллове он и его свита, не привыкшие к долгому летнему дню, опоздали к ужину и монастырский подкеларник отказался их кормить («государя боюся, а Бога надобе больши того бояться»). Путешествие продолжалось несколько месяцев, а уже в сентябре Иван снова отправился к Троице, а оттуда — в Александрову слободу и в Можайск. Такое долгое отсутствие в столице молодого великого князя говорит о том, что решение текущих государственных дел вполне осуществлялось без его участия.

Длинный перечень «заволжских» обителей, посещенных великим князем, мог бы навести нас на мысль, что уже в то время Ивана Васильевича глубоко интересовала внутренняя жизнь церкви и симпатии его принадлежали живущим в заволжских обителях «нестяжателям», суровым аскетам, учившим, что церковь не должна обладать земельными владениями. Однако такому путешествию можно дать и более простое объяснение.

Вспомним, что в 1528—1529 годах отец Ивана великий князь Василий вместе с молодой женой совершил такое же путешествие из Александровой слободы в Кириллов, чтобы просить чудотворца Кирилла о даровании им сына. С просьбой молиться о «чадородии» великий князь обращался и к братии других северных обителей, в частности к Корнилию Комельскому, основателю того Корнильева монастыря, который среди других обителей посетил в 1545 году Иван Грозный. Таким образом, поездка на далекий Север со стороны молодого великого князя была актом благочестивой благодарности, предпринятым, как только молодой правитель оказался в состоянии совершить столь долгое путешествие.

Сведения о других поездках, гораздо более кратких по времени, не позволяют говорить о чрезмерном благочестии великого князя: посещение чтимых обителей или храмов сочеталось с поездками на медвежью охоту или на звериную ловлю.

По свидетельству Курбского, великий князь предавался развлечениям в компании юных аристократов, и их «потехи» были не безопасны для окружающих. Великий князь со своими благородными сверстниками «по стогнам и торжищам начал на конех... ездити и всенародных человек, мужей и жен бити и грабити». Воспитатели, по словам Курбского, не удерживали великого князя от подобных поступков, но, напротив, восхваляли их, говоря: «О храбр... будет сей царь и мужествен».

Курбского можно было бы заподозрить в тенденциозности, но его высказывания подтверждаются свидетельствами иных, более ранних источников. Особый интерес среди них представляют так называемые «Главы поучительны начальствующим правоверно», написанные для наставления молодого государя знаменитым Максимом Греком. Михаил Триволис (в монашестве Максим) занимал в московском обществе того времени особое место. Высокообразованный греческий книжник, он бежал в Италию, спасаясь от наступления османов. Здесь на время Михаил подпал под влияние бурно расцветавшей ренессансной культуры, затем испытал влияние религиозного реформатора Джироламо Савонаролы и, наконец, порвав с западным миром, поселился в Греции, на Святой Горе (Афоне), знаменитой своими монастырями. В 1518 году, по просьбе отца Ивана IV, он был послан в Россию для перевода писаний отцов церкви. Своими обширными познаниями древних авторов и трудов отцов церкви высокообразованный грек произвел сильное впечатление на московское общество. Образовался кружок почитателей, посещавших его келью. Скоро стали появляться его собственные сочинения, посвященные рассмотрению разных проблем, волновавших духовную элиту русского общества.

Судьба Максима сложилась неблагоприятно. Человек с таким духовным авторитетом не мог ограничиться переводами чужих трудов и остаться в стороне от конфликта, разделившего в 20-е годы XVI века русскую церковь на сторонников и противников монастырской земельной собственности. В этом споре Максим Грек встал на сторону противников монастырских «стяжаний» и вместе с ними был осужден церковным собором в 1525 году и послан в заточение. Со временем, однако, греческий книжник, чьи взгляды и познания неизменно производили глубокое впечатление на современников, был освобожден из заточения, получил возможность снова писать и, не имея никакого высокого сана, стал к середине XVI века одним из главных духовных авторитетов русского общества. Неудивительно, что к нему обратились с просьбой оказать воздействие на молодого монарха. С

самим царем Максим Грек, по-видимому, еще не встречался, но лица, обратившиеся к нему с просьбой, конечно, должны были снабдить его сведениями о характере молодого государя.

«Главы поучительные» начинаются весьма резким утверждением, что тот, кто подчиняется действиям страстей — «ярости и гневу напрасному и беззаконным плотским похотем», не человек, но «безсловесного естества человекообразно подобие». Далее идет речь о том, что истинному христианину не подобает услаждать свои глаза «чужими красотами», а свой слух «душегубительным глумлением смехотворных кошунников». Ему не следует открывать свои уши для клеветников, «ниже язык удобь двизати в досады и злословия и глаголы скверны». Следовательно, по сведениям, которыми располагал Максим Грек, молодой государь был человеком не равнодушным к женской красоте и склонным проводить время в веселой компании скоморохов; для него характерны были приступы гнева и склонность к злой насмешке.

Важную информацию о нравах, царивших в окружении монарха, содержит и послание, с которым также в конце 40-х годов обратился к царю его наставник, священник Благовещенского собора в Кремле, Сильвестр. Нам еще неоднократно придется обращаться к этому посланию, когда речь пойдет о резком переломе в поведении и образе жизни великого князя. Сильвестр, в частности, призывал правителя удалить из своего окружения людей, занимающихся «содомским грехом» (библейское выражение, использовавшееся в эпоху Средневековья для обозначения гомосексуализма). По тону письма видно, что священник понимал: одного простого обращения, для того чтобы великий князь исполнил его просьбу, недостаточно. Поэтому он предлагал великому князю подумать, что случится с государством, если «ближние твои государские люди, бояре и воеводы ратные и избные люди (дьяки, сидящие в «избах» — приказах. — *Б.Ф.*) в такое безстудие уклонятца». «Аще сотвориши се, — писал священник своему духовному сыну, — искорениши злое се беззаконие прелюбодеяние, содомский грех и любовник отлучиши, без труда спасеши».

Черты характера Ивана IV, так выразительно обрисованные в «Главах поучительных», способствовали тому, что в отношениях между ним и его сверстниками возникала напряженность, которая могла приводить уже в то время к трагическому исходу.

Как вспоминал Курбский, в середине 40-х годов великий князь приказал убить пятнадцатилетнего юношу Михаила, сына князя Богдана Трубецкого. Убийство, конечно, не имело никакого политического подтекста и даже не отмечено в текстах летописей. Скорее всего, это было обычное столкновение между подростками, а его трагический исход говорит о явном падении ценности человеческой жизни в условиях переворотов и явных и тайных убийств, сделавшихся неотъемлемой чертой жизни русской правящей элиты в годы «бояр-

ского правления». Склонность монарха к злословию, разделявшаяся, вероятно, его окружением, также была источником конфликтов. Краткая летописная запись сообщает, что великий князь приказал «урезать язык» одному из своих молодых приближенных — Афанасию Бутурлину за «невежливое слово».

Однако и лица, высоко стоявшие на иерархической лестнице, занимавшие самые высокие государственные должности, могли стать объектом царского гнева с самыми печальными для себя последствиями. С этой точки зрения заслуживают внимания события, происшедшие в Коломне летом 1546 года. Великий князь впервые принял участие в военном походе. Речь шла, правда, пока не о настоящей войне. Иван IV просто посетил войска, которые несли на Оке военную службу, охраняя государство от возможных нападений крымских татар. Великий князь поселился за пределами общего военного лагеря — «под Голутвиным монастырем, своим полком». В военном лагере юноша государь и его сверстники занялись обычным времяпровождением — «потехами», в которых заставляли участвовать и бояр: «пашню пахал вешнюю и з бояры сеял гречиху и инны потехи, на ходулях ходил и в саван наряжался»*.

Веселые развлечения молодого государя были прерваны самым грубым образом.

Для понимания того, что произошло, следует кратко остановиться на некоторых особенностях комплектования русской армии того времени. В 40-е годы XVI века входившая в состав этой армии пехота, вооруженная огнестрельным оружием, — «пищальники» — набиралась по раскладке из среды городского посадского населения. Расходы по набору и снаряжению пищальников падали на всю городскую общину, но богатое привилегированное купечество стремилось при раскладке переложить тяжесть расходов на рядовых горожан — «черных людей». В 1546 году при сборе пищальников в Новгороде произошли столкновения богатых «гостей» с рядовыми горожанами и в результате «не доставили в пищальники сорок человек на службу». Вмешалось правительство — 25 человек, признанных виновными в невыполнении великокняжеского указа, было арестовано и вывезено в Москву, а имущество их конфисковано.

Неудивительно, что новгородские пищальники, вошедшие в состав стоявшей в районе Коломны армии, решились обратиться с «че-

* Описание игры в «покойника», сохранившееся в записях XIX века, позволяет конкретнее судить о характере таких развлечений. Игра представляла собой пародию на обряд церковных похорон — установка в избе гроба с мнимым покойником и отпевание, «состоящее из самой отборной, что называется «острожной» брани... По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый тыквенными зубами». (Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 300—301). Судя по летописной записи, в роли мнимого покойника выступал сам великий князь.

лобитель» (прошением) к самому великому князю. Произошло это, когда молодой государь захотел «на прохлад поехать потешиться». Пищальники начали «бити челом», то есть пытались изложить свои просьбы, но великий князь «велел их отослати». Когда пищальники стали настаивать на своем, он приказал дворянам прогнать их силой. Завязался бой, с обеих сторон были убитые. После этого великий князь поручил своему дьяку Василию Захарову Гнильевскому расследовать, «по чьему науку быть сие супротивство». Атмосфера интриг и борьбы за власть, в которую оказался погружен великий князь с того времени, как он стал участвовать в политической жизни, приучала его искать за разного рода выступлениями высокопоставленных организаторов. Дьяк действительно после расследования обвинил в причастности к выступлению трех бояр — князя Ивана Ивановича Кубенского и Федора и Василия Воронцовых. Возможно, бояре обвинялись в том, что советовали пищальникам обратиться с жалобами к великому князю. В официальной истории царствования Ивана IV эти обвинения решительно квалифицируются как клевета, но великий князь им поверил, «с великие ярости наложил на них свой гнев и опалу», а затем приказал отрубить им головы «у своего стану перед своими шатры». С казнью так торопились, что к боярам даже не допустили «отцов духовных», чтобы исповедать их в грехах перед смертью. Автор так называемого «Постниковского летописца» сообщает, что был арестован и боярин конюший Иван Петрович Федоров, которого «в те же поры ободрана нага держали», но он «против государя встреч не говорил, а во всем ся виноват чинил». Очевидно, что жестокость расправы была не в последнюю очередь связана с тем, что арестованные бояре не желали признать своей вины и вступили в спор со своим государем.

Эпически спокойный характер записей о происшедшем говорит о том, что к концу боярского правления казни лиц, занимавших высшие государственные должности, перестали вызывать у кого-либо удивление. Вместе с тем реакция великого князя на «челобитье» пищальников, его жестокая расправа с людьми, которые, по его мнению, несли ответственность за происшедшее, свидетельствуют о желании раз и навсегда прекратить непрошеное вмешательство внешнего мира в ту жизнь, полную «потех», которую вел правитель и которая его вполне устраивала.

Иван IV утверждал, что, достигнув пятнадцатилетнего возраста, он начал «сам строити свое государство». Однако, как согласно отмечают исследователи, вмешательство великого князя в государственные дела выразилось в 1546—1547 годах лишь в возвышении его дядьев, братьев Елены Глинской, которые заняли высшие государственные должности. Причины этого вполне понятны. Выросший в обстановке постоянных интриг и борьбы за власть, великий князь хотел опереться в управлении страной на людей, в личной преданно-

сти которых он мог быть уверен. А таковыми были прежде всего его родственники по матери, Глинские, всецело обязанные своим высоким положением в русском обществе родству с молодым государем.

В новой ситуации, создавшейся с возвышением Глинских, великий князь не проявлял большого внимания к государственным делам. В этом отношении большой интерес представляют свидетельства псковских летописей о поездке, предпринятой Иваном IV на рубеже 1546/47 года в Новгород и Псков. Поездка эта была заметным событием, она отмечена в летописях и разрядных книгах. Государя сопровождал князь Михаил Васильевич Глинский — одно из главных лиц в государстве. Посетив Псков, великий князь сделал щедрые пожалования Псково-Печерскому монастырю. Тем более показательно, что в составленном в этом монастыре летописном своде результаты поездки были оценены весьма сурово: великий князь покинул Псков, «не управив своей вотчины ничего». Главным образом он занимался тем, что «все гонял на ямских», и населению от его пребывания было лишь «много протор и волокиты». Псковичи выражали недовольство деятельностью своего наместника, князя Ивана Ивановича Турунтая Пронского. Однако, находясь во Пскове, великий князь не приложил никаких усилий для того, чтобы уладить конфликт, и псковичам ничего не оставалось, как отправить своих челобитчиков (70 человек) в Москву. Те разыскали государя в одной из подгородных резиденций, селе Острове. Результатом челобитья стало то, что «князь великий государь опалился на псковичь, сих безчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды да свечею зажигал и повеле их покласти нагих на земли». Лишь поспешный отъезд Ивана IV в Москву спас жалобщиков от еще более сурового наказания. Все это происходило в начале июня 1547 года. Таким образом, и в это время молодой государь самым жестоким образом отвергал попытки вовлечь его в решение насущных государственных проблем, не принимал ничего, что могло заставить его отказаться от той полной «потех» и развлечений жизни, вести которую он привык в последние годы. К этому времени Иван IV уже несколько месяцев был царем (о значении принятия русским правителем царского титула речь пойдет впереди), но новый высокий сан не привел к переменам в его образе жизни.

Вскоре, однако, произошли события, которые потрясли молодого монарха и заставили его резко изменить всю свою жизнь.

Таковыми событиями стали московский пожар и последовавшее за ним восстание в Москве в июне 1547 года.

В том, что произошло в это время, в известной мере оказался повинен сам царь. Он полностью доверил ведение государственных дел своим родственникам, которые оказались неспособными прекратить бедствия, терзавшие страну. За свое сравнительно краткое правление Глинские получили известность лишь расправами с людьми, вызвав-

шими их неудовольствие: особенно жестокой была казнь «повелением князя Михаила Глинского и матери его, княгини Анны», князя Ивана Федоровича Овчины-Оболенского, «которого посадили на кол на лугу за Московью рекою». Постепенно любимцы царя, которых считали ответственными за положение в стране, возбудили к себе всеобщую ненависть, и нужен был лишь толчок, чтобы эта ненависть вырвалась наружу. Таким толчком стали пожары, буквально уничтожившие Москву весной-летом 1547 года.

Уже 12 апреля большой пожар охватил московский торг — «погореша лавки во всех рядах города Москвы со многими товары» и значительная часть посада на территории Китай-города; в одной из башен Кремля загорелся порох, и она взорвалась. 20 апреля за Яузой «погореша Гончары и Кожевники». Город еще не успел оправиться от последствий, когда 21 июня на Арбате начался новый пожар, охвативший большую часть Москвы: горел и Кремль, и Китай-город, и Большой посад. Как записал псковский летописец, «погоре вся Москва, город и посады все, церкви и торг». По сведениям так называемого «Летописца Никольского», в страшном пожаре погибло 25 000 дворов и 250 церквей. Несколько тысяч человек сгорело в огне — цифра для средневекового города огромная.

Ответственность за то, что произошло далее, Иван IV впоследствии возложил на бояр — противников Глинских, которые «научиша народ скудожайших умом», что в пожаре, погубившем большинство большей части населения Москвы, виновны Глинские. В частности, княгиня Анна будто бы вызвала пожар своим «чародейством» — «з своими детми и с людьми волховала: вымала сердца человеческие да клала в воду да тою водою ездячи по Москве да кропила», «княгиня Анна сорокою летала да зажигала». Современные исследователи полагают, что бояре действительно подстрекали народ, но их действия имели успех только потому, что Глинские до этого успели стать предметом общей ненависти. Это понимал уже современник, редактировавший в 70-х годах XVI века официальную летопись правления Грозного: «Сие глаголаху черные люди того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людям насильство и грабеж». Долго накапливавшееся возмущение Глинскими вырвалось наружу. Москвичи, черные люди, «собравшись вечьем», то есть созвав собрание всех московских горожан — «вече», 26 июня ворвались в Кремль. Дядя царя, князь Юрий Васильевич Глинский был схвачен во время службы в Успенском соборе и убит. Труп его вытащили из Кремля и бросили перед Торгом, «иде же казнят» (так обращались с трупами казненных за измены по приговору «мира»). Другой царский дядя, князь Михаил, вместе со своей матерью бежал из Москвы и «хоронился по монастырем». Несколько дней Москва находилась во власти восставших, которые «людей княже Юрьевых бесчисленно побиша и живот княжей розграбиша».

Царь после пожара в Кремле, уничтожившего все дворцовые постройки, жил в одной из своих подгородных резиденций — селе Воробьеве, так что все происходившее в Москве его непосредственно не коснулось. Однако 29 июня «поидоша многие люди черные к Воробьеву и с шитом и с сулицы (копьями.— *Б.Ф.*), яко же к боеви обычаи имяху (то есть снарядившись как на войну.— *Б.Ф.*)», и потребовали от царя выдать им Михаила Глинского и княгиню Анну, которые, по их убеждению, прячутся у царя. Эта встреча с вооруженным народом произвела очень сильное впечатление на царя. В речи на Стоглавом соборе в 1551 году, вспоминая о событиях 1547 года, царь говорил: «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа». Позднее, в Первом послании Курбскому, царь утверждал, что «бояре научили были народ и нас убити» за то, что он, царь, скрывает у себя Глинских, и распространяли слухи, что царю якобы известно о злодейских планах Глинских («бутто мы тот их совет ведали»). В официальном рассказе летописи говорится, что царь «повеле тех людей имати и казнити», но гораздо больше доверия вызывает свидетельство неофициального «Летописца Никольского», согласно которому великий князь, когда вооруженные москвичи пришли к селу Воробьеву, «удивися и ужасеся», но «не учини им в том опалы». По-видимому, имели место унижительные для молодого монарха переговоры: москвичей убедили в том, что Глинских в царской резиденции нет, и они разошлись по домам.

Внешний мир с его проблемами так властно вторгся в жизнь Ивана, что игнорировать его стало уже невозможно. Надо было начать жить по-новому — но как?

Молодой монарх был в растерянности. Бедствия такого рода, что постигли Москву в 1547 году, воспринимались людьми Средневековья как проявление Божьего гнева. Прежде всего следовало умиловать грозного Бога. Об этом царь беседовал с появившимся у него к этому времени интимным другом — Алексеем Адашевым.

Адашев принадлежал к «доброму» роду костромских вотчинников Ольговых. Род этот, однако, и среди костромских вотчинников не занимал первенствующего места, уступая таким родам, как род потомков мурзы Чета Сабуровых и родственных им Вельяминовых, Годуновых и Карповых, потомков тверских бояр. Сабуровы и Карповы в конце XV века — первой половине XVI века неоднократно занимали высокие государственные должности, дававшие возможность личной близости к монарху. Об Ольговых этого сказать нельзя. С точки зрения окружавшей монарха знати, Адашев был, конечно, незнатным человеком. Между тем самые ранние упоминания об Адашеве в источниках показывают, что он занимал при дворе Ивана IV такое положение, на которое его происхождение не давало ему никакого права. В разряде свадьбы Ивана IV, состоявшейся в феврале 1547 года, отмечено, что в «мыльне» с молодым царем были «спальники» и

«мовники» князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев и Алексей Федорович Адашев. Когда в июле того же года царь отправился в Коломну возглавить войска, охранявшие от татар южную границу, то его в качестве «рынды» — знатных телохранителей сопровождали те же лица. Князь Иван Федорович Мстиславский был близким родственником царя, а Никита Романович Юрьев, принадлежавший к одному из наиболее знатных московских боярских родов, был братом царицы Анастасии. Занять равное с ними положение Адашев мог только благодаря особой милости царя. Как показывает разряд царской свадьбы, особо близким приближенным к монарху лицом Алексей Адашев стал еще до московских пожаров 1547 года. По-видимому, Адашев был старше царя. Еще в начале XVII века в Москве помнили, что Адашев участвовал вместе со своим отцом Федором в посольстве к султану, заболел там и целый год прожил в Стамбуле. Хорошо известно, что Федор Григорьевич Адашев вернулся в Москву в ноябре 1539 года, и вряд ли он возил с собой в Стамбул восьми- или девятилетнего мальчика. В тяжелом для монарха положении Алексей Адашев вполне мог выступить в роли старшего и более опытного друга.

В сентябре 1547 года Алексей Адашев привез в самую почитаемую русскую обитель, Троице-Сергиев монастырь, денежный вклад царя — 7000 рублей. Обращают на себя внимание две особенности пожертвования. Во-первых, огромный размер вклада. На протяжении XVI века ни один из членов царской семьи не жертвовал в Троице-Сергиев монастырь столь значительной суммы. Даже когда умер отец царя Василий III, заупокойный вклад по нем составил 500 рублей. Во-вторых, обычным условием вклада было совершение заупокойных служб по кому-либо из родственников; в сентябре же 1547 года при передаче вклада такое условие не было указано. Очевидно, вклад имел другое назначение. Учитывая обстоятельства, в которых это произошло, не трудно прийти к выводу, что щедрым пожалованием в Троице-Сергиев монастырь царь хотел прежде всего умиловать Бога.

Вслед за московскими пожарами молодого правителя постигли новые неприятности. Зимой 1548 года царь возглавил свой первый настоящий военный поход против казанских татар. Войска дошли до Нижнего Новгорода, но тут «прииде теплота велика и мокрота многая, и весь лед покры вода на Волге». В результате «пушки и пищали многие проваляшесь в воду.. и многие люди в протошинах потопиша». Великий князь вынужден был вернуться «с многими слезами». Это выражение официальной летописи ясно показывает, в каком угнетенном состоянии находился Иван IV, вернувшийся в столицу. Стоит отметить и другое выражение летописца — необычная теплая погода зимой наступила «Божиим смотрением», то есть печальный для царя конец похода был свидетельством того, что щедрое жало-

вание не привело к прекращению Божьего гнева. Чего еще хотел Бог от царя? В чем причины Его гнева? Почему Ему оказалось недостаточно такого щедрого вклада?

Ответ на эти мучившие царя вопросы он получил при встрече со священником Благовещенского собора Сильвестром. Эта встреча оказала сильное влияние на всю последующую жизнь Ивана Грозного. Так как Благовещенский собор в Кремле был домовою церковью великих князей Московских, то Сильвестр и прежде мог быть лично знаком молодому государю. Представляется, однако, что нужны были какие-то особые обстоятельства, чтобы царь решил довериться этому священнику. Сильвестр и прежде был в Москве человеком новым, он переехал в столицу из Новгорода сравнительно недавно и почетный пост священника придворного собора скорее всего получил по протекции митрополита Макария, который до возведения в 1542 году на митрополичью кафедру долгое время был новгородским архиепископом. Можно было бы думать, что именно Макарий рекомендовал Сильвестра царю. Однако все, что нам известно о взаимоотношениях царя и митрополита, говорит о том, что какой-либо личной близости между двумя выдающимися современниками не было. Посредником между царем и благовещенским священником должен был стать человек гораздо более близкий к царю. Есть все основания считать таким человеком Алексея Адашева.

Источники последующего времени говорят о близких, доверительных отношениях между Адашевым и Сильвестром. Еще в начале XVII века в Москве помнили, что Сильвестр и Адашев «сидели вместе в избе у Благовещенья». Думается, что Адашев скорее всего и мог быть тем близким человеком, с которым царь поделился своими переживаниями и именно от него исходил совет пригласить Сильвестра как духовного отца, чтобы помочь царю найти выход из духовного кризиса.

К сожалению, о том, что произошло во время встречи царя с Сильвестром, мы осведомлены совершенно недостаточно. Сам царь в своем Первом послании Курбскому лишь кратко отметил, что после этой встречи «совета ради духовнаго и спасения ради души своея» избрал Сильвестра своим духовным наставником, которому он добровольно стал повиноваться. Не вносит ясности и более подробный рассказ Курбского. По его словам, Сильвестр явился к царю, «претяще ему от Бога священными писанми и срозе заклинающе его страшным Божиим именем». При этом Сильвестр ссылался на бывшее ему «явление от Бога», о котором Курбский осторожно отметил, что не знает, было ли оно на самом деле или Сильвестр вымыслил его, чтобы произвести большее впечатление на царя и заставить его следовать своим советам. Однако чем именно угрожал Сильвестр царю и в чем заключались его советы, Курбский не говорит.

Очевидно, что разговор царя с Сильвестром должен был касаться смысла произошедших событий и тех уроков, какие должен был извлечь из них царь.

О том, что на этой встрече говорил Сильвестр царю, можно в известной мере судить по его уже упоминавшемуся выше посланию. Хотя послание было направлено против носителей «содомского греха» в окружении царя, «содомский грех» выступал в нем лишь как один из многих пороков, поразивших русское общество. «Восста убо в нас, — восклицал Сильвестр, — ненависть и гордость, и вражда и маловерие к Богу, и грабление, и насилие, и лжа, и клевета, и лукавое умышление на всякое зло». Это вызвало гнев Бога, который «согрешающим, не кающимся... наказание и великие скорби посылает». Сначала Бог навел на русскую землю нашествие разоривших ее «поганных», но это не привело к исправлению, так как уцелевших от этого нашествия «сильнии... плениша и поругаша, и всякими насилии, лукавыми коварствы мучиша. Слезы и стенания, вопль их Господь услыши, и посла глад на землю и мор... и пожары великие и межъусобные брани».

В таком объяснении причин постигших Русскую землю бедствий Сильвестр вовсе не был оригинален. Составитель «Летописца Никольского», работавший в Новгороде в середине XVI века, говоря о «великих пожарах» в Москве, также видел в них проявление Божьего гнева, вызванного тем, «что в царствующем граде Москве и во всей России умножилась неправда от велмож насильствующих всему миру и не право судящих, но по мзде».

Значение встречи с Сильвестром состояло в том, что благодаря ей царь мог составить, наконец, представление о положении дел в стране и злоупотреблениях боярских правителей. Царь усвоил и предложенное Сильвестром объяснение причин бедствий, постигших страну, и излагал его уже от своего имени в речи, зачитанной им в 1551 году на заседаниях так называемого Стоглавого собора. Говоря о разоривших страну нашествиях «поганных», царь констатировал: «И сими великими казньми в покаяние не внидохом, сами межоусобство зло сотворихом и бедным христианам насильство всякое чинихом». Однако как объяснить слова Курбского о том, что Сильвестр строго заклинал царя страшным Божьим именем? Если, например, автор «Летописца Никольского» ограничивался порицанием вельмож, творящих несправедливый суд, то Сильвестр возлагал ответственность за все происшедшее на самого монарха: «Государь еси в православной области Богом поставлен... глава всем людем своим и государь своему царствию». Поэтому на государе лежит ответственность за все, что происходит в его стране перед призвавшим его к власти Богом. «И тебе, великому государю, которая похвала в твоей великой области множество Божиих людей заблудиша? И на ком то ся възыщет?» «Великие пожары» в Москве оказывались знаком «Божьего гнева» не

только против неправедных бояр и воевод, но и против монарха, не выполнявшего своих обязанностей.

Молодой царь не мог не признать справедливости слов священника. Он пренебрег возложенными на него Богом обязанностями, не сумел подчинить вельмож своей власти и заставить их служить интересам страны и сам позволил втянуть себя в их беспринципные интриги. Говоря на Стоглавом соборе о распрях вельмож в годы своего малолетства, царь добавил к ним многозначительные слова и о самом себе: «навыкох их злокозненны обычаи и таяжде мудрствовах, яко же и они».

Однако значение бесед с Сильвестром состояло не только в том, что царь осознал, в каком неприглядном, плачевном положении оказалась и страна, и он сам. «И сего убо, — говорил царь, обращаясь к участникам Стоглавого собора и заключая этими словами рассказ о бедствиях, постигших Русскую землю, — вниде страх в душу мою и трепет в кости моа и смутися дух мой и умилихся и познах свои съгрешения». Но возникал вопрос: что делать дальше и как положить конец так страшно проявившемуся Божьему гневу?

В своем послании Сильвестр, как и подобает православному священнику, писал Ивану IV, что Бог хочет исправления, а не гибели, и что чистосердечное покаяние в совершенном может отвратить от Руси и ее правителя Божий гнев. В доказательство Сильвестр приводил царю примеры не только библейских правителей, но и его деда Ивана III, который «исправися перед Богом и смилив себе», и Бог своим чудесным вмешательством погубил орду хана Ахмата.

Несомненно, то же самое говорил он царю и в личных беседах. Нет оснований сомневаться в том, что под влиянием этих бесед мысль о необходимости умилоствить Бога искренним покаянием глубоко запала в сознание царя. Уже в апреле 1548 года царь отправился в Троице-Сергиев монастырь на богомолье пешком, что было актом благочестия и смирения перед Богом. Те неллицеприятные высказывания о себе самом, которые царь публично зачитывал в 1551 году перед участниками Стоглавого собора, были адресованы не только присутствовавшим на соборе духовным и светским лицам, но и Богу, как осязательное доказательство раскаяния. Однако еще ранее, в начале 1549 года, на собравшемся тогда церковном соборе царь обратился к митрополиту и святителям, «припадая с истинным покаянием, прося прощения, еже зле съдеах».

Но и самого искреннего раскаяния в совершенном было недостаточно. Милость Божия, внушал Сильвестр царю, будет оказана, когда царь своими усилиями исправит причиненное им зло. Рассказ о бедствиях, постигших Русскую землю, в его послании завершался словами: «Вся сия законопреступления хошет Бог тобою исправити». Касаясь конкретной темы послания — вопроса о борьбе с «содомским грехом», Сильвестр был не менее тверд: если «искорениши...

содомский грех и любовников отлучиши, без труда спасешия и прежний свой грех оистиши». Сильвестр убеждал своего духовного сына, что совершить все это ему вполне по силам: «Мошно тебе учинити и укрепити, и дьявола победити, и веру совершити, неизправленное изправити».

После бесед с Сильвестром образ жизни царя резко изменился. Участники веселых «потех» исчезли из царского окружения. Перестали появляться на царских трапезах скоморохи. Составитель официальной летописи 50-х годов XVI века записал на своих страницах, что царь «потехи же царьские, ловы и иные учреждения, еже подобает обычаем царским, все оставиша», посвящая свое время молитве и решению государственных дел. С этого времени биография молодого царя тесно переплелась с основными событиями русской истории его времени.

Стоит, однако, отметить, что ни встреча царя с Сильвестром, ни покаяние царя перед митрополитом и святителями, ни горькие слова, сказанные царем о самом себе перед участниками Стоглавого собора, не нашли никакого отражения в официальном летописании 50-х годов.